

Эдуард Багрицкий

Стихотворения



Эдуард Георгиевич Багрицкий

Стихотворения

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2889835

Аннотация

«Весенним утром кухонные двери
Раскрыты настежь, и тяжелый чад
Плывет из них. А в кухне толкотня:
Разгоряченный повар отирает
Дырявым фартуком свое лицо,
Заглядывает в чашки и кастрюли,
Приподымая медные покрышки,
Зевает и подбрасывает уголь
В горячую и без того плиту...»

Содержание

Тиль Уленшпигель	6
«От черного хлеба и верной жены...»	10
Возвращение	12
Тиль Уленшпигель	14
Креолка	17
Контрабандисты	19
Встреча	23
Птицелов	28
Папиросный коробок	31
Славяне	35
Конец Летучего Голландца	37
Смерть пионерки	39
Арбуз	47
Можайское шоссе	50
О Пушкине	53
Песня о рубашке	55
Голуби	58
Осень	63
Стихи о соловье и поэте	65
Ночь	68
Весна	73
Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым	77
Вмешательство поэта	83

Суворов	87
Бессонница	90
Баллада о Виттингтоне	93
Освобождение	96
ТВС	99
Происхождение	104
Баллада о нежной даме	107
«Я сладко изнемог от тишины и снов...»	109
«О Полдень, ты идешь в мучительной тоске...»	110
Осенняя ловля	111
Рассыпанной цепью	113
Знаки	116
«Здесь гулок шаг. В пакгаузах пустых...»	118
Трясина	119
1. Ночь	119
2. День	124
Весна, ветеринар и я	128
Стихи о себе	132
1. Дом	132
2. Читатель в моем представлении	134
3. Так будет	136
О любителе соловьев	138
Рудокоп	139
Враг	141
Нарушение гармонии	143

Гимн Маяковскому	145
Полководец	147
Осень	149
Дерибасовская ночью	151

Эдуард Георгиевич Багрицкий Стихотворения

Тиль Уленшпигель

Весенним утром кухонные двери
Раскрыты настежь, и тяжелый чад
Плывет из них. А в кухне толкотня:
Разгоряченный повар отирает
Дырявым фартуком свое лицо,
Заглядывает в чашки и кастрюли,
Приподымая медные крышки,
Зевает и подбрасывает уголь
В горячую и без того плиту.
А поваренок в колпаке бумажном,
Еще неловкий в трудном ремесле,
По лестнице карабкается к полкам,
Толчет в ступе корицу и мускат,
Неопытными путает руками
Коренья в банках, кашляет от чада,
Вползающего в ноздри и глаза
Слезящего...
А день весенний ясен,

Свист ласточек сливается с ворчаньем
Кастрюль и чашек на плите; мурлычет,
Облизываясь, кошка, осторожно
Под стульями подкрадываясь к месту,
Где незамеченным лежит кусок
Говядины, покрытый легким жиром.
О царство кухни! Кто не восхвалял
Твой синий чад над жарящимся мясом,
Твой легкий пар над супом золотым?
Петух, которого, быть может, завтра
Зарежет повар, распевает хрипло
Веселый гимн прекрасному искусству,
Труднейшему и благодатному...

Я в этот день по улице иду,
На крыши глядя и стихи читая, —
В глазах рябит от солнца, и кружится
Беспутная, хмельная голова.
И, синий чад вдыхая, вспоминаю
О том бродяге, что, как я, быть может,
По улицам Антверпена бродил...
Умевший все и ничего не знавший,
Без шпаги – рыцарь, пахарь – без сохи,
Быть может, он, как я, вдыхал умильно
Веселый чад, плывущий из корчмы;
Быть может, и его, как и меня,
Дразнил копченый окорок, – и жадно
Густую он проглатывал слюну.
А день весенний сладок был и ясен,

И ветер материнскою ладонью
Растрепанные кудри развевал.
И, прислонясь к дверному косяку,
Веселый странник, он, как я, быть может,
Невнятно напевая, сочинял
Слова еще не выдуманной песни...
Что из того? Пускай моим делом
Бродяжничество будет и беспутство,
Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,
И песни разучусь я сочинять...
Что из того? Мне хочется иного...
Пусть, как и тот бродяга, я пройду
По всей стране, и пусть у двери каждой
Я жаворонком засвищу – и тотчас
В ответ услышу песню петуха!
Певец без лютни, воин без оружия,
Я встречу дни, как чаши, до краев
Наполненные молоком и медом.
Когда ж усталость овладеет мною
И я засну крепчайшим смертным сном,
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжелый, ясеневый посох —
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Веселый странник, плакать не умевший.»
Прохожий! Если дороги тебе

Природа, ветер, песни и свобода, —
Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выспаться пора!»

«От черного хлеба и верной жены...»

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

Копытом и камнем испытаны годы,
Бессмертной полынью пропитаны воды, —
И горечь полыни на наших губах...

Нам нож — не по кисти,

Перо — не по нраву,

Кирка — не по чести

И слава — не в славу:

Мы — ржавые листья

На ржавых дубах...

Чуть ветер,

Чуть север —

И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?

Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?

Потопчут ли нас трубачи молодые?

Взойдут ли над нами созвездья чужие?

Мы — ржавых дубов облетевший уют...

Бездомною стужей уют раздуваем...

Мы в ночь улетаем!

Мы в ночь улетаем!

Как спелые звезды, летим наугад...
Над нами гремят трубачи молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над нами чужие знамена шумят...
Чуть ветер,
Чуть север —
Срывайтесь за ними,
Неситесь за ними,
Гонитесь за ними,
Катитесь в полях,
Запевайте в степях!
За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих,
За песней трубы, потонувшей в лесах...

1926

Возвращение

Кто услышал раковины пенье,
Бросит берег и уйдет в туман;
Даст ему покой и вдохновенье
Окруженный ветром океан...

Кто увидел дым голубоватый,
Подымающийся над водой,
Тот пойдет дорогою проклятой,
Звонкую дорогою морской...

Так и я...
Мое перо писало,
Ум выдумывал,
А голос пел;
Но осенняя пора настала,
И в деревьях ветер прошумел...

И вдали, на берегу широком
О песок ударились волна,
Ветер соль развеял ненароком,
Чайки раскричались дотемна...

Буду скучным я или не буду —
Все равно!

Отныне я – другой...
Мне матросская запела удаль,
Мне трещал костер береговой...

Ранним утром
Я уйду с Дальницкой.
Дынь возьму и хлеба в узелке, —
Я сегодня
Не поэт Багрицкий,
Я – матрос на греческом дубке...

Свежий ветер закипает брагой,
Сердце ударяет о ребро...
Обернется парусом бумага,
Укрепитя мачтою перо...

Этой осенью я понял снова
Скуку поэтической нужды;
Не уйти от берега родного,
От павлиньей
Радужной воды...

Только в море
Бесшабашней пенье,
Только в море
Мой разгул широк.
Подгоняй же, ветер вдохновенья,
На борт накренившийся дубок...

Тиль Уленшпигель

МОНОЛОГ

Я слишком слаб, чтоб латы боевые
Иль медный шлем надеть! Но я пройду
По всей стране свободным менестрелем.
Я у дверей харчевни запою
О Фландрии и о Брабанте милом.
Я мышью остроглазую пролезу
В испанский лагерь, ветерком провею
Там, где и мыши хитрой не пролезть.
Веселые я выдумаю песни
В насмешку над испанцами, и каждый
Фламандец будет знать их наизусть.
Свинью я на заборе нарисую
И пса ободранного, а внизу
Я напишу: «Вот наш король и Альба».
Я проберусь шутом к фламандским графам,
И в час, когда приходит пир к концу,
И погасают уголья в камине,
И кубки опрокинуты, я тихо,
Перебирая струны, запою:
Вы, чьим мечом прославлен Гравелин,
Вы, добрые владельцы поместий,
Где зреет розовый ячмень, зачем

Вы покорились мерзкому испанцу?
Настало время, и труба пропела,
От сытной пищи разжирели кони,
И дедовские боевые седла
Покрылись паутиной вековой.
И ваш садовник на шесте скрипучем
Взамен скворешни выставил шелом,
И в нем теперь скворцы птенцов выводят,
Прославленным мечом на кухне рубят
Дрова и колья, и копьем походным
Подперли стену у свиного хлева!
Так я пройду по Фландрии родной
С убогой лютней, с кистью живописца
И в остроухом колпаке шута.
Когда ж увижу я, что семена
Взросли, и колос влагою наполнен,
И жатва близко, и над тучной нивой
Дни равноденственные протекли,
Я лютню разобью об острый камень,
Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак,
И впереди несущих гибель толп
Вождем я встану. И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпегелем вперед!
И вот с костра я собираю пепел
Отца, и этот прах непримеренный
Я в ладонку зашью и на шнурке
Себе на грудь повешу! И когда
Хотя б на миг я позабуду долг

И увлекусь любовью или пьянством,
Или усталость овладеет мной, —
Пусть пепел Клааса ударит в сердце —
И силой новою я преисполнюсь,
И новым пламенем воспламенюсь.
Живое сердце застучит грозней
В ответ удару мертвенного пепла.

Креолка

Когда наскучат ей лукавые новеллы
И надоест лежать в плетеных гамаках,
Она приходит в порт смотреть, как каравеллы
Плывут из смутных стран на зыбких парусах.

Шуршит широкий плащ из золотистой ткани;
Едва хрустит песок под красным каблучком,
И маленький индус в лазоревом тюрбане
Несет тяжелый шлейф, расшитый серебром.

Она одна идет к заброшенному молу,
Где плещут паруса алжирских бригадин,
Когда в закатный час танцуют фарандолу,
И флейта дребезжит, и стонет тамбурин.

От палуб кораблей так смутно тянет дегтем,
Так тихо шелестят расшитые шелка.
Но ей смешней всего слегка коснуться локтем
Закинувшего сеть мулата-рыбака...

А дома ждут ее хрустальные беседки,
Амур из мрамора, глядящийся в фонтан,
И красный попугай, висящий в медной клетке,
И стая маленьких безхвостых обезьян.

И звонко дребезжат зеленые цикады
В прозрачных венчиках фарфоровых цветов,
И никнут дальних гор жемчужные громады
В беретах голубых пушистых облаков,

Когда ж проснется ночь над мраморным балконом
И крикнет козодой, крылами трепеща,
Она одна идет к заброшенным колоннам,
Окутанным дождем зеленого плюща...

В аллее голубой, где в серебре тумана
Прозрачен чайных роз тягучий аромат,
Склонившись, ждет ее у синего фонтана
С виолой под плащом смеющийся мулат.

Он будет целовать пугливую креолку,
Когда поют цветы и плачет тишина...
А в облаках, скользя по голубому шелку
Краями острыми едва шуршит луна.

1915

Контрабандисты

По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
«Доброе дело! Хорошее дело!»
Чтоб звезды обрызгали
Груду наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...

Ай, греческий парус!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

.....

Двенадцатый час —
Осторожное время.
Три пограничника,
Ветер и темень.
Три пограничника,
Шестеро глаз —
Шестеро глаз
Да моторный баркас...
Три пограничника!
Вор на дозоре!
Бросьте баркас
В басурманское море,
Чтобы вода
Под кормой загудела:
«Доброе дело!
Хорошее дело!»
Чтобы по трубам,
В ребра и винт,
Виттовой пляской
Двинул бензин.

Ай, звездная полночь!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

.....

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме,
Да видеть звезду
Над бугшпритом склоненным,
Да голос ломать
Черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер,
Холодный и горький,
Мотора дозорного
Скороговорки!
Иль правильной, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...
Да ветер почуять,
Скользящий по жилам,
Вослед парусам,
Что летят по светилам...
И вдруг неожиданно
Встретить во тьме
Усатого грека
На черной корме...

Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,

Ярость моя!
Чтоб звездами сыпалась
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться
Вселенной навстречу,
Чтоб волн запевал
Оголтелый народ,
Чтоб злобная песня
Коверкала рот, —
И петь, задыхаясь,
На страшном просторе:

«Ай, Черное море,
Хорошее море..!»

1927

Встреча

Меня еда арканом окружила,
Она встает эпической угрозой,
И круг ее неразрушим и страшен,
Испарина подернула ее...

И в этот день в Одессе на базаре
Я заблудился в грудах помидоров,
Я среди арбузов не нашел дороги,
Черешни завели меня в тупик,
Меня стена творожная обстала,
Стекая сывороткой на булыжник,
И ноздреватые обрывы сыра
Грозят меня обвалом раздавить.
Еще – на градус выше – и ударит
Из бочек масло раскаленной жижей
И, набухая желтыми прыщами,
Обдаст камень – и зальет меня.
И синемордая тупая брюква,
И крысья, узкорылая морковь,
Капуста в буклях, репа, над которой
Султаном подымается ботва,
Вокруг меня, кругом, неумолимо
Навалены в корзины и телеги,
Раскиданы по грязи и мешкам.
И как вожди съедобных батальонов,

Как памятники пьянству и обжорству,
Обмазанные сукровицей солнца,
Поставлены хозяева еды.

И я один среди враждебной стаи
Людей, бронированных едою,
Потеющих под солнцем Хаджи-бея
Чистейшим жиром, жарким, как смола.

И я мечусь среди животов огромных,
Среди грудей, округлых, как бочонки,
Среди зрачков, в которых отразились
Капуста, брюква, репа и морковь.

Я одинок. Одесское, густое,
Большое солнце надо мною встало,
Вгоняя в землю, в травы и телеги
Колючие отвесные лучи.

И я свищу в отчаянье, и песня
В три россыпи и в два удара вьется
Бездомным жаворонком над толпой.
И вдруг петух, неистовый и звонкий,
Мне отвечает из-за груды пищи,
Петух – неисправимый горлопан,
Орущий в дни восстаний и сражений.
Оглядываюсь – это он, конечно,
Мой старый друг, мой Ламме, мой товарищ,
Он здесь, он выведет меня отсюда
К моим давно потерянным друзьям!

Он толще всех, он больше всех потеет;
Промокла полосатая рубаха,

И брюхо, выпирающее грозно,
Колышется над пыльной мостовой.
Его лицо багровое, как солнце,
Расцвечено румянами духовки,
И молодость древнейшая играет
На неумело выбритых щеках.
Мой старый друг, мой неуклюжий Ламме,
Ты так же толст и так же беззаботен,
И тот же подбородок четверной
Твое лицо, как прежде, украшает.
Мы переходим рыночную площадь,
Мы огибаем рыбные ряды,
Мы к погребу идем, где на дверях
Отбита надпись кистью и линейкой:
«Пивная госзаводов Пищетрест».
Так мы сидим над мраморным квадратом,
Над пивом и над раками – и каждый
Пунцовый рак, как рыцарь в красных латах,
Как Дон-Кихот, бессилен и усат.
Я говорю, я жалуюсь. А Ламме
Качает головой, выламывает
Клешни у рака, чмокает губами,
Прихлебывает пиво и глядит
В окно, где проплывает по стеклу
Одесское просоленное солнце,
И ветер с моря подымает мусор
И столбики кружит по мостовой.
Все выпито, все съедено. На блюде
Лежит опустошенная броня

И кардинальская тиара рака.
И Ламме говорит: «Давно пора
С тобой потолковать! Ты ослабел,
И желчь твоя разлилась от безделья,
И взгляд твой мрачен, и язык остер.
Ты ищешь нас, – а мы везде и всюду,
Нас множество, мы бродим по лесам,
Мы направляем лошадь селянина,
Мы раздуваем в кузницах горнило,
Мы с школярами заодно зубрим.
Нас много, мы раскиданы повсюду,
И если не певцу, кому ж еще
Рассказывать о радости минувшей
И к радости грядущей призывать?
Пока плывет над этой мостовой
Тяжелое просоленное солнце,
Пока вода прохладна по утрам,
И кровь свежа, и птицы не умолкли, —
Тиль Уленшпигель бродит по земле».

И вдруг за дверью раздается свист
И россыпь жаворонка полевого.
И Ламме опрокидывает стол,
Вытягивает шею – и протяжно
Выкрикивает песню петуха.
И дверь приотворяется слегка,
Лицо выглядывает молодое,
Покрытое веснушками, и губы
В улыбку раздвигаются, и нас

Оглядывают с хитрою усмешкой
Лукавые и ясные глаза.

.....

Я Тиля Уленшпигеля пою!

1923, 1928

Птицелов

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударил дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березе зяблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка – и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный,
И звенит манок бузинный, —
Из бузинного прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель певучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей,

Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюринии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

1918, 1926

Папиросный коробок

Раскуренный дочиста коробок,
Окурки под лампою шаткой...
Он гость – я хозяин. Плывет в уголок
Студеная лодка-кроватька..

– Довольно! Пред нами другие пути,
Другая повадка и хватка!.. —
Но гость не встает. Он не хочет уйти;
Он пальцами, чище слоновой кости,
Терзает и вертит перчатку...

Столетняя палка застыла в углу,
Столетний цилиндр вверх дном на полу,
Вихры над веснушками взреяли...
Из гроба, с обложки ли от папирос —
Он в кресла влетел и к пружинам прирос,
Перчатку терзая, – Рылеев...

– Ты наш навсегда! Мы повсюду с тобой,
Взгляни!.. —
И рукой на окно:
Голубой
Сад ерзал костями пустыми.

Сад в ночь подымал допотопный костяк,
Вдыхая луну, от бронхита свистя,
Шепча непонятное имя...

— Содружество наше навек заодно! —

Из пруда, прижатого к иве,
Из круглой смородины лезет в окно
Промокший Каховского кивер...

Поручик! Он рвет каблуками траву,
Он бредит убийством и родиной;
Приклеилась к рыжему рукаву
Лягушечья лапка смородины...

Вы – тени от лампы!
Вы – мокрая дрожь
Деревьев под звездами робкими...
Меня разговорами не проведешь,
Портрет с папиросной коробки!..

Я выключил свет – и видения прочь!
На стекла с предательской ленью
В гербах и султанах надвинулась ночь —
Ночь Третьего отделения...

Пять сосен тогда выступают вперед,
Пять виселиц, скрытых вначале,
И сизая плесень блестит и течет

По мокрой и мыльной мочале...

В калитку врывается ветер шальной,
Отчаянный и бесприютный, —
И ветви над крышей и надо мной
Заносятся, как шпицрутены...

Крылатые ставни колотятся в дом,
Скрежещут зубами шарниров.
Как выкрик:

— Четвертая рота, кругом! —
Упрятанных в ночь командиров...
И я пробегаю сквозь строй без конца —
В поляны, в леса, в бездорожья...
...И каждая палка хочет мяса,
И каждая палка пляшет по коже...

В ослиную шкуру стучит кантонист
(Иль ставни хрипят в отдаленьи?)...
А ночь за окном, как шпицрутенов свист,
Как Третье отделение,
Как сосен качанье, как флюгера вой...
И вдруг поворачивается ключ световой.

Безвредною синькой покрылось окно,
Окурки под лампою шаткой.
В пустой уголок, где от печки темно,
Как лодка, всплывает кроватька...

И я подхожу к ней под гомон и лай

Собак, зараженных бессонницей:

– Вставай же, Всеволод, и всем володай,

Вставай под осеннее солнце!

Я знаю: ты с чистою кровью рожден,

Ты встал на пороге веселых времен!

Прими ж завещанье:

Когда я уйду

От песен, от ветра, от родины, —

Ты начисто выруби сосны в саду,

Ты выкорчуй куст смородины!..

Славяне

Мы жили в зеленых просторах,
Где воздух весной напоен,
Мерцали в потупленных взорах
Костры кочевавших племен...

Одеты в косматые шкуры,
Мы жертвы сжигали тебе,
Тебе, о безумный и хмурый
Перун на высоком столбе.

Мы гнали стада по оврагу,
Где бисером плещут ключи,
Но скоро кровавую брагу
Испьют топоры и мечи.

Приходят с заката тевтоны
С крестом и безумным орлом,
И лебеди, бросив затоны,
Ломают осоку крылом.

Ярила скрывается в тучах,
Стрибог подымается в высь,
Хохочут в чащобах колючих
Лишь волк да пятнистая рысь...

И желчью сырой опоенный,
Трепещет Перун на столбе.
Безумное сердце тевтона,
Громовник, бросаю тебе...

Пылают холмы и овраги,
Зарделись на башнях зубцы,
Пронесят червонные стяги
В плащах белоснежных жрецы.

Рычат исступленные трубы,
Рокочут рыдания струн,
Оскалив кровавые зубы,
Хохочет безумный Перун!..

1915

Конец Летучего Голландца

Надтреснутых гитар так дребезжащи звуки,
Охрипшая труба закашляла в туман,
И бьют костлявые безжалостные руки
В большой, с узорами, турецкий барабан...

У красной вывески заброшенной таверны,
Где по сырой стене ползет зеленый хмель,
Напившийся матрос горланит ритурнель,
И стих сменяет стих, певучий и неверный.

Струится липкий чад над красным фонарем.
Весь в пятнах от вина передник толстой Марты,
Два пьяных боцмана, бранясь, играют в карты;
На влажной скатерти дрожит в стаканах ром...

Береты моряков обшиты галунами,
На пурпурных плащах в застёжке – бирюза.
У бледных девушек зеленые глаза
И белый ряд зубов за красными губами...

Фарфоровый фонарь – прозрачная луна,
В розетке синих туч мерцает утомленно,
Узорчат лунный блеск на синеве затона,
О полусгнивший мол бесшумно бьет волна...

У старой пристани, где глуше пьяниц крик,
Где реже синий дым табачного угара,
Безумный старый бриг Летучего Косара
Раскрашенными флагами поник.

1915

Смерть пионерки

Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата,
Крашенная дверь.
Тоньше паутины
Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженных волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный,
Черная трава.

Почему от зноя
Ноет голова?
Почему теснится
В подъязычье стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?

Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

Валенька, Валюша!
Тягостно в избе.
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Все хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты,
Свиньи без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

На щеке помятой
Длинная слеза...
А в больничных окнах
Двигается гроза.

Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Двигается отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сиянье
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы
Подымают вой.
Над больничным садом,
Над водой озер,
Двигутся отряды
На вечерний сбор.

Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

А внизу, склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить —
Валентине больше
Не придется жить.

– Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья,
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Ночи не спала,

Все коров доила,
Птицу стерегла, —
Чтоб было приданое,
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие

Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле – навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь – на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Воскликает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!

Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Синее тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

И, припав к постели.
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

Вот и все!

Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.

Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов

В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

1932

Арбуз

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе – и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь,
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун —
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.

Сквозь волны – навывлет!
Сквозь дождь – наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втянуты в дикую карусель.
И море топчет как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель
Последняя наша путина!

Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, —
Мне жизни веселой теперь не сберечь —
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встает,

Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

1924

Можайское шоссе (Автобус)

В тучу, в гулкие потемки
Губы выкатил рожок,
С губ свисает на тесемке
Звука сдавленный кружок.
Оборвется пропыленный —
И покатится, дрожа,
На Поклонную, с Поклонной,
Выше. Выше. На Можайск.
Выше. Круглый и неловкий,
Он стремится наугад,
У случайной остановки
Покачнется – и назад.
Через лужи, чепез озимь,
Прорезиненный, живой,
Обрастающий навозом,
Бабочками и травой, —
Он летит, грозы предтеча,
В деревенском блеске бус,
Он кусты и звезды мечет
В одичалый автобус;
Он хрипит неудержимо
(Захлебнулся сгоряча!),

Он обдаст гремучим дымом
Вороненого грача.
Молния ударит мимо
Переплетом калача.
Матерщинничает все,
Ввинчивает в пыль кусты,
Я за приступ голосую!
Я за взятие! А ты?
И выносит нас кривая,
Раскачнувшись широко!
Над шофером шаровая
Молния, как яблоко.

Все открыто и промыто,
Камни в звездах и росе,
Извиваясь, в тучи влито
Дыбом вставшее шоссе.
Над последним косогором
Никого.

Лишь он один —
Тот аквариум, в котором
Люди, воздух и бензин.
И, взывая, как оратор,
В сорок лошадиных оил,
Входит равным радиатор
В сочетание светил.
За стеклом орбиты, хорды,
И, пригнувшись, сед и сер,
Кривобокий, косомордый,

Давит молнию шофер.

1930

О Пушкине

..И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег. Он знает – здесь конец...
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.
Кровь на рубахе... Полость меховая
Откинута. Полозья дребезжат.
Леса и снег и скука путевая,
Возок уносится назад, назад...
Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова
То, что влюбленному забыть нельзя, —
Рассыпанные кудри Гончаровой
И тихие медовые глаза.
Случайный ветер не разгонит скуку,
В пустынной хвое замирает край...
...Наемника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса
Следит – упорно, взведены ль курки,
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его тупые, скользкие зрачки...
И мне ли, выученному, как надо
Писать стихи и из винтовки бить,
Певца убийцам не найти награду,
За кровь пролитую не отомстить?

Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
И сердце колотилось безотчетно,
И вольный пламень в сердце закипал
И в свисте пуль за песней пулеметной
Я вдохновенно Пушкина читал!
Идут года дорогой неуклонной,
Клокочет в сердце песенный порыв...
...Цветет весна – и Пушкин отомщенный
Все так же сладостно-вольнолюбив.

1924

Песня о рубашке

(Томас Гуд)

От песен, от скользкого пота —
В глазах растекается мгла.
Работай, работай, работай
Пчелой, заполняющей соты,
Покуда из пальцев с налета
Не выпрыгнет рыбкой игла!..

Швея! Этой ниткой суровой
Прошито твое бытие...
У лампы твоей бестолковой
Поет вдохновенье твое,
И в щели проклятого крова
Невидимый месяц течет.

Швея! Отвечай мне, что может
Сравниться с дорогой твоей?..
И хлеб ежедневно дороже,
И голод постылый тревожит,
Гниет одинокое ложе
Под стужей осенних дождей.

Над белой рубашкой склоняясь,

Ты легкою водишь иглой, —
Стежков разлетается стая
Под бледной, как месяц, рукой,
Меж тем как, стекло потрясая,
Норд-ост заливается злой.

Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...
От капли чадящего света
Глаза твои влагой одеты...
Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник...

О вы, не узнавшие страха
Бездомных осенних ночей!
На ваших плечах – не рубаха,
А голод и пение швей,
Дня, полные ветра и праха,
Да темень осенних дождей!

Швея! Ты не помнишь свободы,
Склонясь над убогим столом,
Не помнишь, как громкие воды
За солнцем идут напролом,
Как в пламени ясной погоды
Касатка играет крылом.

Стежки за стежками, без счета,
Где нитка тропой залегла.

– Работай, работай, работай, —
Поет, пролетая, игла, —
Чтоб капля последнего пота
На бледные щеки легла!..

Швея! Ты не знаешь дороги,
Не знаешь любви наяву,
Как топчут веселые ноги
Весеннюю эту траву...
...Над кровлею – месяц убогий,
За ставнями ветры ревут...

Швея! За твоею спиною
Лишь сумрак шумит дождевой, —
Ты медленно бледной рукою
Сшиваешь себе для покоя
Холстину, что сложена вдвое, —
Рубашку для тьмы гробовой...

– Работай, работай, работай,
Покуда погода светла,
Покуда стежками без счета
Играет, летая, игла...
Работай, работай, работай,
Покуда не умерла!..

1923 (1926)

Голуби

Весна. И с каждым днем невнятной
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина.

Пора! Полощет плат крылатый,
И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь.

О, голубиная охота!
Уже воркующей толпой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой!

Двадцатый год! Но мало, мало
Любви и славы за спиной.
Лишь двадцать капель простучало
О подоконник жестяной.

Лишь голуби да голубая
Вода. И мол. И волнолом.
Лишь сердце, тишину встречая,
Все чаще ходит ходуном..

Гудит година путевая,
Вагоны, ветер полевой.
Страда распахнута другая,
Страна иная предо мной!

Через Ростов, через станицы,
Через Баку, в чаду, в пыли —
Навстречу Каспий, и дымится
За черной солью Энзели.

И мы на вражеские части
Верблюжий повели поход.
Навыорот летело счастье,
Навыорот, наоборот!

Колес и кухонь гул чугунный
Нас провожал из боя в бой,
Через малярийные лагуны,
Под малярийною луной.

Обозы врозь, и мулы — в мыле,
И в прахе гор, в песке равнин,
Обстрелянные, мы вступили
В тебя, наказанный Казвин!

Близ углового поворота
Я поднял голову — и вот
Воскрылий, пуха и помета

Рассеявшийся вихрь плывет!

На плоской крыше плат крылатый
Полощет – и взлетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

Два года боя. Не услышал,
Как месяцы ушли во мглу:
Две капли стукнули о крышу
И покатались по стеклу...

Через Баку, через станицы,
Через Ростов, назад, назад,
Туда, где Знаменка дымится
И пышет Елисаветград!

Гляжу: на дальнем повороте —
Ворота, сад и сеновал;
Там в топоте и конском поте
Косматый всадник проскакал.

Гони! Через дубняк дремучий,
Вброд или вплавь гони вперед!
Взовьется шашка – и певучий,
Скрутившись, провод упадет...

И вот столбы глухонемые
Нутром не стонут, не поют.

Гляжу: через поля пустые
Тачанки ноют и ползут...

Гляжу: близ Елисаветграда,
Где в суходоле будяки,
Среди скота, котлов и чада
Лежат верблюжские полки.

И ночь и сон. Но будет время —
Убудет ночь, и сон уйдет.
Загикает с тачанки в темень
И захлебнется пулемет...

И нива прахом пропылится,
И пули запоют впотьмах,
И конница по ржам помчится —
Рубить и ржать. И мы во ржах.

И вот станицей журавлиной
Летим туда, где в рельсах лег,
В певучей стае тополиной,
Вишневый город меж дорог.

Полощут кумачом ворота,
И разом с крыши угловой
Воскрылий, пуха и помета
Развеян вихрь над головой.

Опять полощет плат крылатый,

И разом улетают в гарь
Сизоголовый, и хохлатый,
И взмывший веером почтарь!

И снова год. Я не услышал,
Как месяцы ушли во мглу.
Лишь капля стукнула о крышу
И покатилась по стеклу...

Покой!.. И с каждым днем невнятной
Травой восходит тишина,
И голуби на голубятне,
И облачная глубина...

Не попусту топтались ноги
Через рокот рек, чрез пыль полей,
Через овраги и пороги —
От голубей до голубей!

1922

Осень

По жнитвам, по дачам, по берегам
Проходит осенний зной.
Уже необычнее по ночам
За хатами псиный вой.
Да здравствует осень!
Сады и степь,
Горючий морской песок —
Пропитаны ею, как черствый хлеб,
Который в спирту размок.
Я знаю, как тропами мрак прошит,
И полночь пуста, как гроб;
Там дичь и туман
В травяной глуши,
Там прыгает ветер в лоб!
Охотничьей ночью я стану там,
На пыльном кресте путей,
Чтоб слушать размашистый плеск и гам
Гонимых на юг гусей!
Я на берег выйду:
Густой, густой
Туман от соленых вод
Клубится и тянется над водой,
Где рыбий косяк плывет.
И ухо мое принимает звук,

Гудя, как пустой сосуд;
И я различаю:
На юг, на юг
Осетры плывут, плывут!
Шипенье подводного песка,
Неловкого краба ход,
И чаек полет, и пробег бычка,
И круглой медузы лед.
Я утра дождусь...
А потом, потом,
Когда распахнется мрак,
Я на гору выйду...
В родимый дом
Направлю спокойный шаг.
Я слышал осеннее бытие,
Я море узнал и степь;
Я свистну собаку, возьму ружье
И в сумку засуну хлеб...
Опять упадает осенний зной,
Густой, как цветочный мед, —
И вот над садами и над водой
Охотничий день встает...

1923

Стихи о соловье и поэте

Весеннее солнце дробится в глазах,
В канавы ныряет и зайчиком пляшет.
На Трубную выйдешь – и громом в ушах
Огонь соловьиный тебя ошарашит...

Куда как приятны прогулки весной:
Бредешь по садам, пробегаешь базаром!..
Два солнца навстречу: одно – над землей,
Другое – расчищенным вдрызг самоваром.

И птица поет. В коленкоровой мгле
Скрывается гром соловьиного лада...
Под клеткою солнце кипит на столе —
Меж чашек и острых кусков рафинада...

Любовь к соловьям – специальность моя,
В различных коленах я толк понимаю:
За лешевой дудкой – вразброд стукотня,
Кукушкина песня и дробь рассыпная...

Ко мне продавец:
– Покупаете? Вот.
Как птица моя на базаре поет!
Червонец – не деньги! Берите! И дома,

В покое, засвищет она по-иному...

От солнца, от света звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаясь трамвая.
Крестами и звездами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает...

Нас двое!

Бродяга и ты – соловей,
Глазастая птица, предвестница лета.
С тобою купил я за десять рублей —
Черемуху, полночь и лирику Фета!

Весеннее солнце дробится в глазах,
По стеклам течет и в канавы ныряет.
Нас двое.

Кругом в зеркалах и звонках
На гору с горы пролетают трамваи.

Нас двое...

А нашего номера нет...
Земля рассолбдела. Полдень допет.
Зеленою смушкой покрылся кустарник.

Нас двое...

Нам некуда нынче пойти;
Трава горячее, и воздух угарней, —
Весеннее солнце стоит на пути.

Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш посвист
Распродан с лотка...
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?

Мы пойманы оба,
Мы оба – в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера...
Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях...
Греми же в зеленых кусках коленкора,
Как я громыхаю в газетных листах!..

1925

Ночь

Уже окончился день, и ночь
Надвигается из-за крыш...
Сапожник откладывает башмак,
Вколотив последний гвоздь.
Неизвестные пьяницы в пивных
Проклинают, поют, хрипят,
Склерозными раками, желчью пивной
Заканчивая день...
Торговец, расталкивая жену,
Окунается в душный пух,
Свой символ веры – ночной горшок
Задвигая под кровать...
Москва встречает десятый час
Перезваниванием проводов,
Свиданьями кошек за трубой,
Началом ночной возни...
И вот, надвинув кепи на лоб
И фотогеничный рот
Дырявым шарфом обмотав,
Идет на промысел вор...
И, ундервудов траурный марш
Покинув до утра,
Конфетные барышни спешат
Встречать героев кино.

Антенны подрагивают в ночи
От холода чуждых слов;
На циферблате десятый час
Отмечен косым углом...
Над столом вождя – телефон иссяк,
И зеленое сукно,
Как болото, всасывает в себя
Пресспапье и карандаши...
И только мне десятый час
Ничего не приносит в дар:
Ни чая, пахнувшего женой,
Ни пачки папирос.
И только мне в десятом часу
Не назначено нигде —
Во тьме подворотни, под фонарем —
Заслышать милый каблук...
А сон обволакивает лицо
Оренбургским густым платком;
А ночь насыпает в мои глаза
Голубиных созвездии пух.
И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд...
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки

Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатой кислотой.
Там рыб чешуйчатые мечи
Пылают: «Не заплати!
Мы голову – прочь, мы руки – долой!
И кинем голодным псам!»
Там круглые торты стоят Москвой
В кремлях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь...
А в дверь ненароком: стоит атлет
Средь сине-багровых туш!
Погибшая кровь быков и телят
Цветет на его щеках...
Он вытянет руку – весы не в лад
Качнутся под тягой гирь,
И нож, разрезающий сала пласт,
Летит павлиньим пером.
И пылкие буквы
«МСПО»
Расцветают сами собой
Над этой оголтелой жратвой
(Рычи, желудочный сок!)...
И голод сжимает скулы мои,
И зудом поет в зубах,
И мыльною мышью по горлу вниз

Падает в пищевод...

И я содрогаюсь от скрипа когтей,

От мышьяей возни хвоста,

От медного запаха слюны,

Заливающего гортань...

И в мире остались – одни, одни,

Одни, как поход планет,

Ворота и обручи медных букв,

Начищенные огнем!

Четыре буквы:

«МСПО»,

Четыре куска огня:

Это —

Мир Страстей, Полыхай Огнем!

Это —

Музыка Сфер, Паря

Откровением новым!

Это – Мечта,

Сладострастье, Покои, Обман!

И на что мне язык, умевший слова

Ощущать, как плодовой сок?

И на что мне глаза, которым дано

Удивляться каждой звезде?

И на что мне божественный слух совы,

Различающий крови звон?

И на что мне сердце, стучащее в лад

Шагам и стихам моим?!

Лишь поет нищета у моих дверей,

Лишь в печурке юлит огонь,

Лишь иссякла свеча, и луна плывет
В замерзающем стекле...

<1926>

Весна

В аллеях столбов,
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже окунувшийся
В масло по локоть
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...
Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, —
Звенит палисандр
Дачной гитары:
«Ах! Вам не хочется ль
Под ручку пройтиться?..» —
«Мой милый! Конечно,
Хотится! Хотится!..»
А там, над травой,
Над речными узлами
Весна развернула
Зеленое знамя, —

И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...
На голем прутье,
Над водой невеселой
Гортань продувают
Ветвей новоселы...
Первым дроздом
Закликают леса,
Первою щукой
Стреляют плеса;
И звезды
Над первобытною тишью
Распороты первой
Летучей мышью...

Мне любы традиции
Жадной игры:
Гнездовья, берлоги,
Метанье икры...
Но я – человек,
Я – не зверь и не птица,
Мне тоже хочется
Под ручку пройтись;
С площадки нырнуть,
Раздирая пальто,
В набитое звездами
Решето...

Чтоб, волком трубя
У бараньего трупа,
Далекую течку
Ноздрями ощупать;
Иль в черной бочаге,
Где корни вокруг,
Обрызгать молоками
Щучью икру;
Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей,
Сигать кожаном
И бродить за волчицей;
Нырять, подползать
И бросаться в угон, —
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;
Чтоб видеть воочью:
Во славу природы
Раскиданы звери,
Распахнуты воды,
И поезд, крутящийся
В мокрой траве, —
Чудовищный вьюн
С фонарем в голове!..
И поезд от похоти
Воет и злится:
– Хотится! Хотится!
Хотится! Хотится!

1927

Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым

– Где нам столкнуться!
Вы – другой народ!..
Мне – в апреле двадцать,
Вам – тридцатый год.
Вы – уже не юноша,
Вам ли о войне...

– Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...
На плацу, открытом
С четырех сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон;
Вот и закачались мы
В прозелень травы,
Я – военспецом,
Военкомом – вы...
Справа – курган,
Да слева курган;
Справа – нога,
Да слева нога;
Справа наган,
Да слева шашка,

Цейсс посередке,
Сверху – фуражка...
А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Степям и дорогам
Не кончен счет;
Камням и порогам
Не найден счет.
Кружит паучок
По загару щек.
Сабля да книга —
Чего еще?

(Только ворон выслан
Сторожить в полях...
За полями – Висла,
Ветер да поляк;
За полями ментик
Вылетает в лог!)

Военком Дементьев,
Саблю наголо!

Проклюют навывлет,
Поддадут коленом,

Голову намылят
Лошадиной пеной...
Степь заместо простыни:
Натянули – раз!
...Добротными саблями
Побреют нас...

Покачусь, порубан,
Растянусь в траве,
Привалюся чубом
К русой голове...
Не дождались гроба мы,
Кончили поход.
На казенной обуви
Ромашка цветет...
Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «nevermore»¹ он
По Эдгару По...
«Повернитесь, встаньте-ка,
Затрубите в рог...»
(Старая романтика,
Черное перо!)

– Багрицкий, довольно!
Что за бред!..
Романтика уволена

¹ Никогда (англ.).

За выслугой лет;
Сабля – не гребенка,
Война – не спорт;
Довольно фантазировать,
Закончим спор.
Вы – уже не юноша,
Вам ли о войне!..

– Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...
Лежим, истлевающие
От глотки до ног...
Не выцвела трава еще
В солдатское сукно;
Еще бежит из тела
Болотная ржавь,
А сумка истлела,
Распалась, рассеклась,
И книги лежат...

На пустошах, где солнце
Зарыто в пух ворон,
Туман, костер, бессонница
Морочат эскадрон, —
Мечется во мраке
По степным горбам:
«Ехали казаки,
Чубы по губам...»

А над нами ветры
Ночью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат! —
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах
Буквы муравьями
Тлеют на листьях...
(Над вороньим кругом —
Звездяный лед.
По степным яругам
Ночь идет...)

Нехристь или выкрест
Над сухой травой, —
Размахнулись вихри
Пыльной булавой.
Вырваны ветрами
Из бочаг пустых,
Хлопают крылами
Книжные листы;
На враждебный Запад
Рвутся по стерням:
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...
(Кочуют вороны,
Кружат кусты.
Вслед эскадрону

Летят листья.)
Чалый иль соловый
Конь храпит.
Вьется слово
Кругом копыт.
Под ветром снова
В дыму щека;
Вьется слово
Кругом штыка...
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки —
То, о чем мы думали,
Ведет штыки...
С нашими замашками
Едут пред полком —
С новым военспецом
Новый военком.
Что ж! Дорогу нашу
Враз не разрубить:
Вместе есть нам кашу,
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

Вмешательство поэта

Весенний ветер лезет вон из кожи,
Калиткой щелкает, кусты корежит,
Сырой забор подталкивает в бок,
Сосна, как деревянное проклятье,
Железный флюгер, вырезанный ятью
(Смотри мой «Папиросный коробок»).

А критик за библейским самоваром,
Винтообразным окружен угаром,
Глядит на чайник, бровью шевеля.
Он тянет с блюдца – в сторону мизинец,
Кальсоны хлопают на мезонине,
Как вымпел пожилого корабля,
И самовар на скатерти бумажной
Протодиаконот трубит протяжно.
Сосед откушал, обругал жену
И благодует:

– Ах! Погода!
Какая подмосковная природа!
Сюда бы Фофанова да луну! —
Через дорогу, в хвойном окруженья,
Я двигаюсь взлохмаченною тенью,
Ловлю пером случайные слова,
Благословляю кляксами бумагу.
Сырые сосны отряхают влагу.

И в хвое просыпается сова.

Сопит река.

Земля раздражена

(Смотри стихотворение «Весна»).

Слова как ящерицы, – не наступишь;

Размеры – выгоднее воду в ступе

Толочь; а композиция встает

Шестиугольником или квадратом;

И каждый образ кажется проклятым,

И каждый звук топырится вперед.

И с этой бандой символов и знаков

Я, как биндюжник, выхожу на драку

(Я к зуботычинам привык давно).

А критик мой недавно чай откушал.

Статью закончил, радио прослушал

И на террасу распахнул окно.

Меня он видит – он доволен миром —

И тенорком, политым легким жиром,

Пугает галок на кусте сыром.

Он возглашает:

– Прорычите басом,

Чем кончилась волынка с Опанасом,

С бандитом, украинским босяком.

Ваш взгляд от несварения неистов.

Прошу, скажите за контрабандистов,

Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,

Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма, —

Ах, для здоровья мне необходимы

Романтика, слабительное, бром!

Не в этом ли удача из удач?
Я говорю как критик и как врач.
Но время движется. И на дороге
Гниют доисторические дроги,
Булыжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылезает, —
И вот ползет по укрощенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай.
(Сосед мой недоволен:
— Эт-то проза!)
Но плимутрок из ближнего совхоза
Орет на солнце, выкатив кадык.
— Как мне работать!
Голова в тумане. —

И бытием прижатое сознание
Упорствует и выжимает крик.
Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас нянчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,
Колючие ошметки и крючки, —

Начало будущего оперенья.

– Ау, сосед!

Он стонет и ворчит:

– Невыносимо плимутрок кричит,

Невыносимо дребезжат трамваи!

Да, вы линяете, милейший мой!

Вы погибаете, милейший мой!

Да, вы в тупик уперлись головой,

И как вам выбраться, не понимаю! —

Молчи, папаша! Пестрое перо

Топорщится, как новая рубаха.

Петуший гребень дыбится остро;

Я, словно исполинский плимутрок,

Закидываю шею. Кличет рог —

Крылами раз! – и на забор с размаха.

О, злобное петушьё бытие!

Я вылинял! Да здравствует победа!

И лишь перо погибшее мое

Кружится над становищем соседа.

Суворов

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями, —
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще
дилижансы,
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых
шляпах;
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки пели
романсы,
И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,
На грязных окнах подымались зеленые шторы,
В темных залах смолкали нежные дуэты,
И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки,
Растворялись ворота услужливыми казачками,
Краснолицые путники услужливо прятали трубки,
Обжигая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,

На котором стояли саксонские часы и уродцы из фарфора,
Читал французский роман, открыв его с середины,
«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей знатного сеньора».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней
И толстая служанка стучит по коридору башмаками,
Он собирался в свои холодные деревни,
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;
Старчески кряхтя, он сходил во двор, держась за перила;
Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку,
И мчались гостиница, роца, так что в глазах рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана
Маленькие домики и церковь с облупленной крышей,
Он дергал высокого кучера за полу кафтана
И кричал ему старческим голосом: «Поезжай потише!»

Но иногда по первому выпавшему снегу,
Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,
К нему в деревню приезжал фельдъегерь

И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, – читал он, – Александр Васильич!
Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой
тревожить,
Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою
удалились,
Чтоб мудрым трудом и науками свои владения
множить...»

Он долго смотрел на надушенную бумагу —
Казалось, слова на тонкую нитку нижат;
Затем подходил к шкафу, вынимал ордена и шпагу
И становился Суворовым учебников и книжек.

1915

Бессонница

Если не по звездам – по сердцебиению
Полночь узнаешь, идущую мимо...
Сосны за окнами – в черном оперении,
Собаки за окнами – клочьями дыма.
Все, что осталось!
Хватит! Довольно!
Кровь моя, что ли, не ходит в теле?..
Уши мои, что ли, не слышат вольно?
Пальцы мои, что ли, окостенели?..
Видно и слышно: над прорвою медвежьей
Звезды вырастают, в кулак размером!
Буря от Волги, от низких побережий
Черные деревни гонит карьером...
Вот уже по стеклам двинуло дыханье
Ветра, и стужи, и каторжной погоды...
Вот закачались, загикали в тумане
Черные травы, как черные воды...
И по этим водам, по алому вою,
Крыльями крыльца раздвигая сосны,
Сруб начинает двигаться в прибое,
Круглом и долгом, как гром колесный...
Словно корабельные пылают знаки,
Стекла, налитые горячей желчью,
Следом, упираясь, тащатся собаки,

Лязгая цепями, скуля по-волчьи...
Лопнул частокол, разлетевшись пеной...
Двор позади... И на просеку разом
Сруб вылетает! Бревенчатые стены
Ночь озирают горячим глазом.
Прямо по болотам, гоняя уток,
Прямо по лесам, глухарей пугая,
Дом пролетает, разбивая круто
Камни и кочки и пни подгибая...
Это черноморская ночь в уборе
Вологодских звезд – золотых баранок;
Это расступается Черное море
Черных сосен и черного тумана!..
Это летит по оврагам и скатам
Крыша с откинутой назад трубою,
Так что дым кнутом языкатым
Хлещет по стволам и по хвойному прибою.
Это стремглав, наудачу, в прорубь,
Это, деревянные вздувая ребра,
В гору вылетая, гремя под гору,
Дом пролетает тропой недоброй...
Хватит! Довольно! Стой!
На разгоне
Трудно удержаться! Еще по краю
Низкого забора ветвей погоня,
Искры от напора еще играют,
Ветер от разбега еще не сгинул,
Звезды еще рвутся в порыве гонок...
Хватит! Довольно! Стой!

На перину

Падает откинутый толчком ребенок...

Только за оконницей проходят росы,

Сосны кивают синим опереньем...

Вот они, сбитые из бревен и теса,

Дом мой и стол мой: мое вдохновенье!

Прочно установлена косая хвоя,

Врыт частокол, и собака стала.

Милая! Где же мы?

– Дома, под Москвою;

Десять минут ходьбы от вокзала...

1927

Баллада о Виттингтоне

Он мертвым пал. Моей рукой
Водила дикая отвага.
Ты не заштопаешь иглой
Прореху, сделанную шпагой.
Я заплатил свой долг, любовь,
Не возмущаясь, не ревнуя, —
Недаром помню: кровь за кровь
И поцелуй за поцелуи.
О ночь в дожде и в фонарях,
Ты дуешь в уши ветром страха,
Сначала судьи в париках,
А там палач, топор и плаха.
Я трудный затвердил урок
В тумане ночи непробудной, —
На юг, на запад, на восток
Мотай меня по волнам, судно.
И дальний берег за кормой,
Омытый морем, тает, тает, —
Там шпага, брошенная мной,
В дорожных травах истлевет.
А с берега несется звон,
И песня дальняя понятна:
«Вернись обратно, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!»

Был ветер в сумерках жесток.
А на заре, сырой и алой,
По днищу заскрипел песок,
И судно, вздрогнув, затрещало.
Вступила в первый раз нога
На незнакомые от века
Чудовищные берега,
Не видевшие человека.
Мы сваи подымали в ряд,
Дверные прорубали ниши,
Из листьев пальмовых накат
Накладывали вместо крыши.
Мы балки подымали ввысь,
Лопатами срывали скалы...
«О Виттингтон, вернись, вернись», —
Вода у взморья ворковала.
Прокладывали наугад
Дорогу средь степных прибрежий.
«О Виттингтон, вернись назад», —
Нам веял в уши ветер свежий.
И с моря доносился звон,
Гудевший нежно и невнятно:
«Вернись обратно, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!»
Мы дни и ночи напролет
Стругали, резали, рубили —
И грузный сколотили плот,
И оттолкнулись, и поплыли.
Без компаса и без руля

Нас мчало тайными путями,
Покуда корпус корабля
Не встал, сверкая парусами.
Домой. Прощение дано.
И снова сын приходит блудный.
Гуди ж на мачтах, полотно,
Звени и содрогайся, судно.
А с берега несется звон,
И песня близкая понятна:
«Уйди отсюда, Виттингтон,
О Виттингтон, вернись обратно!»

1923

Освобождение

За топотом шагов неведом
Случайной конницы налет,
За мглой и пылью —
Следом, следом —
Уже стрекочет пулемет.
Где стрекозиную повадку
Он, разгулявшийся, нашел?
Осенний день,
Сырой и краткий,
По улицам идет, как вол...
Осенний день
Тропой залятой
Медлительно бредет туда,
Где под защиту Кронштадта
Дымят военные суда.
Матрос не встанет, как бывало,
И не возьмет под козырек.
На блузе бант пылает алый,
Напруженный взведен курок.
И силою пятизарядной
Оттуда вырвется удар,
Оттуда, яростный и жадный,
На город ринется пожар.
Матрос подымет руку к глазу

(Прицел ему упорный дан),
Нажмет курок —
И сразу, сразу
Зальется тенором наган.
А на плацдармах —
Дождь и ветер,
Колеса, пушки и штыки,
Здесь собрались на рассвете
К огню готовые полки.
Здесь:
Галуны кавалериста,
Папаха и казачий кант,
Сюда идут дорогой мглистой
Сапер,
Матрос и музыкант.
Сюда путиловцы с работы
Спешат с винтовками в руках,
Здесь притаились пулеметы
На затуманенных углах.
Октябрь!
Внесен удар упорный
И ждет падения руки.
Готово все:
И сумрак черный,
И телефоны, и полки.
Все ждет его:
Деревьев тени,
Дрожанье звезд и волн разбег,
А там, под Гатчиной осенней,

Худой и бритый человек.

Октябрь!

Ночные гаснут звуки.

Но Смольный пламенем одет,

Оттуда в мир скорбей и скуки

Шарахнет пушкой декрет.

А в небе над толпой военной,

С высокой крыши,

В дождь и мрак,

Простой и необыкновенный,

Летит и вьется красный флаг.

1923

ТВС

Пыль по ноздрям – лошади ржут.
Акации сыплются на дрова.
Треплется по ветру рыжий джут.
Солнце стоит посреди двора.
Рычаньем и чадом воздух прорыв,
Приходит обеденный перерыв.

Домой до вечера. Тишина.
Солнце кипит в каждом кремне.
Но глухо, от сердца, из глубины,
Предчувствие кашля идет ко мне.

И сызнава мир колюч и наг:
Камни – углы, и дома – углы;
Трава до оскомины зелена;
Дороги до скрежета белы.
Надсаживаясь и спеша донельзя,
Лезут под солнце ростки и Цельсий.

(Значит: в гортани просохла слизь,
Воздух, прожарясь, стекает вниз,
А снизу, цепляясь по веткам лоз,
Плесенью лезет туберкулез.)

Земля надрывается от жары.
Термометр взорван. И на меня,
Грохоча, осыпаются миры
Каплями ртутного огня,
Обжигают темя, текут ко рту.
И вся дорога бежит, как ртуть.
А вечером в клуб (доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка).
Дома же сонно и полутемно:
О, скромная заповедь молока!

Под окнами тот же скопческий вид,
Тот же кошачий и детский мир,
Который удушьем ползет в крови,
Который до отвращенья мил,
Чадом которого ноздри, рот,
Бронхи и легкие – все полно,
Которому голосом сковород
Напоминать о себе дано.
Напоминать: «Подремли, пока
Правильно в мире. Усни, сынок».

Тягостно коченеет рука,
Жилка колотится о висок.

(Значит: упорней бронхи сосут
Воздух по капле в каждый сосуд;
Значит: на ткани полезла ржа;
Значит: озноб, духота, жар.)

Жилка колотится у виска,
Судорожно дрожит у век.
Будто постукивает слегка
Остроугольный палец в дверь.
Надо открыть в конце концов!

«Войдите». – И он идет сюда:
Остроугольное лицо,
Остроугольная борода.
(Прямо с простенка не он ли, не он
Выплыл из воспаленных знамен?
Выпятив бороду, щурясь слегка
Едим глазом из-под козырька.)
Я говорю ему: «Вы ко мне,
Феликс Эдмундович? Я нездоров».

...Солнце спускается по стене.
Кошкам на ужин в помойный ров
Заря разливает компотный сок.
Идет знаменитая тишина.
И вот над уборной из досок
Вылазит неприбранная луна.

«Нет, я попросту – потолковать».
И опускается на кровать.

Как бы продолжая давнишний спор,
Он говорит: «Под окошком двор
В колючих кошках, в мертвой траве,

Не разберешься, который век.
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди – и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься – а вокруг враги;
Руки протянешь – и нет друзей;
Но если он скажет: „Солги“, – солги.
Но если он скажет: „Убей“, – убей.
Я тоже почувствовал тяжкий груз
Опущенной на плечо руки.
Подстриженный по-солдатски ус
Касался тоже моей щеки.
И стол мой раскидывался, как страна,
В крови, в чернилах квадрат сукна,
Ржавчина перьев, бумаги клочок —
Всё друга и недруга стерегло.
Враги приходили – на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка;
Он вздыбился из гущины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!

Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.
Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я».
Смолкает. Жилка о висок
Глуше и осторожней бьет.
(Значит: из пор, как студеный сок,
Медленный проступает пот.)
И ветер в лицо, как вода из ведра.
Как вестник победы, как снег, как стынь.
Луна лейкоцитом над кругом двора,
Звезды круглы, и круглы кусты.
Скатываются девять часов
В огромную бочку возле окна.
Я выхожу. За спиной засов
Защелкивается. И тишина.
Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как неструганая доска,
Готовая к легкой пляске пилы,
К тяжелой походке молотка.
И я ухожу (а вокруг темно)
В клуб, где нынче доклад и кино,
Собрание рабкоровского кружка.

Происхождение

Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась – краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И все наизусть.
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали —
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне:
– Подлец! Подлец! —

И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
– Ну как, скажи, поверит в мир текущий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша – это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?
Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но, в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,

Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И все кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо, —
Все это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
– Отверженный!
Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи! —
Я покидаю старую кровать:
– Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

1930

Баллада о нежной даме

Зачем читаешь ты страницы
Унылых, плачущих газет?
Там утки и иные птицы
В тебя вселяют ужас. – Нет,
Внемли мой дружеский совет:
Возьми ты объявлений пачку,
Читай, – в них жизнь, в них яркий свет;
«Куплю японскую собачку!»
О дама нежная! Столицы
Тебя взлелеяли! Корнет
Именовал тебя царицей,
Бела ты как вишневый цвет.
Что для тебя кровавый бред
И в горле пушек мяса жвачка, —
Твоя мечта светлей планет:
«Куплю японскую собачку».
Смеживши черные ресницы,
Ты сладко кушаешь шербет.
Твоя улыбка как зарница,
И содержатель твой одет
В тончайший шелковый жилет,
И нанимает третью прачку, —
А ты мечтаешь, как поэт:
«Куплю японскую собачку».

Когда от голода в скелет
Ты превратишься и в болячку,
Пусть приготовят на обед
Твою японскую собачку.

1919

«Я сладко изнемог от тишины и снов...»

Я сладко изнемог от тишины и снов,
От скуки медленной и песен неумелых,
Мне любви петухи на полотенцах белых
И копоть древняя суровых образов.
Под жаркий шорох мух проходит день за днем,
Благочестивейшим исполненный смиреньем,
Бормочет перепел под низким потолком,
Да пахнет в праздники малиновым вареньем.
А по ночам томит гусиный нежный пух,
Лампада душная мучительно мигает,
И, шею вытянув, протяжно запекает
На полотенце вышитый петух.
Так мне, о господи, ты скромный дал приют,
Под кровом благостным, не знающим волненья,
Где дни тяжелые, как с ложечки варенье,
Густыми каплями текут, текут, текут.

1919

«О Полдень, ты идешь в мучительной тоске...»

О Полдень, ты идешь в мучительной тоске
Благословить огнем те берега пустые,
Где лодки белые и сети золотые
Лениво светятся на солнечном песке.
Но в синих сумерках ты душен и тяжел —
За голубую соль уходишь дымной глыбой,
Чтоб ветер, пахнувший смолой и свежей рыбой,
Ладонью влажною по берегу провел.

1916

Осенняя ловля

Осенней ловли началась пора,
Смолистый дым повиснул над котлами,
И сети, вывешенные на сваях,
Колышутся от стука молотков.
И мы следим за утреннею ловлей,
Мы видим, как уходят в море шхуны,
Как рыбаков тяжелые баркасы
Соленою нагружены треской.
Кто б ни был ты: охотник ли воскресный,
Или конторщик с пальцами в чернилах,
Или рыбак, или боец кулачный,
В осенний день, в час утреннего лова,
Когда уходят парусные шхуны,
Когда смолистый дым прохладно тает
И пахнет вываленная треска,
Ты чувствуешь, как начинает биться
Пирата сердце под рубахой прежней.
Хвала тебе! Ты челюсти сжимаешь,
Чтоб не ругаться боцманскою бранью,
И на ладонях, не привыкших к соли,
Мозоли крепкие находишь ты.
Где б ни был ты: на берегу Аляски,
Закутанный в топорщащийся мех,
На жарких островах Архипелага

Стоишь ли ты в фланелевой рубахе,
Или у Клязьмы с удочкой сидишь ты,
На волны глядя и следя качанье
Внезапно дрогнувшего поплавка, —
Хвала тебе! Простое сердце древних
Вошло в тебя и расправляет крылья,
И ты заводишь боевую песню, —
Где грохот ветра и прибой морей.

1918

Рассыпанной цепью

Трескучей дробью барабанят ружья
По лиственницам сизым и по соснам.
Случайный дрозд, подраненный, на землю
Валится с криком, трепеща крылом!
Холодный лес, и снег, и ветер колкий...

И мы стоим рассыпанною цепью,
В руках двустволки, и визжат протяжно
Мордашки на отпущенных ремнях...
Друзья, молчите! Он залег упорно,
И только пар повиснул над берлогой,
И только слышен храп его тяжелый
Да низкая и злая воркотня...

Друзья, молчите! Пусть, к стволу прижавшись,
Прицелится охотник терпеливый!
И гром ударит между глаз звериных,
И туша, вздыбленная, затрепещет
И рухнет в мерзлые кусты и снег!

Так мы теперь раскинулись облавой —
Поэты, рыбаки и птицеловы,
Ремесленники, кузнецы, – широко
В лесу холодном, где колючий ветер

Нам в лица дует. Мы стоим вокруг
Берлоги, где засел в кустах замерзших
Мир, матерой и тяжкий на подъем...
Эй, отпускайте псов, пускай потреплют!
Пускай вопьются меткими зубами
В затылок крепкий. И по снегу быстро,
По листьям полым, по морозной хвое,
Через кусты катясь шаром визжащим,
Летят собаки. И уже встает
Из темноты берлоги заповедной
Тяжелый мир, огромный и косматый,
И под его опущенную лапой
Тяжелодышащий скребется пес!

И мы стоим рассыпанною цепью —
Поэты, рыбаки и птицеловы.
И, вздыбленный, идет на нас, качаясь,
Мир матерой. И вот один из нас —
Широкоплечий, русский и упорный —
Вытаскивает нож из сапога
И, широко расставив ноги, ждет
Хрипящего и бешеного зверя.

И зверь идет. Кусты трещат и гнутся,
Испуганный, перелетает дрозд,
И мы стоим рассыпанною цепью,
И руки онемели, и не можем
Прицелиться медведю между глаз...

А зверь идет... И сумрачный рабочий
Стоит в снегу и нож в руке сжимает,
И шею вытянул, и осторожно
Глядит в звериные глаза! Друзья,
Облава близится к концу! Ударит
Рука рабочья в сердце роковое,
И захрипит, и упадет тяжелый
Свирепый мир – в промерзшие кусты.

А мы, поэты, что во время боя
Стояли молча, мы сбежимся дружно,
И над огромным и косматым трупом
Мы славу победителю споем!

1920

Знаки

Шумели и текли народы,
Вскипела и прошла волна —
И ветер Славы и Свободы
Вздывал над войском знамена...
И в каждой битве знак особый
Дела героев освещал
И страшным блеском покрывал
Земле не преданные гробы...
Была пора: жесток и горд,
Безумно предводя бойцами,
С железным топотом когорт
Шел Цезарь галльскими полями...
И над потоком желтой мглы
И к облакам взметенной пыли
Полет торжественный кружили
Квирита медные орлы...
И одноок, неукротимо,
Сквозь пыль дорог и сумрак скал,
Шел к золотым воротам Рима
Под рев слоновий Ганнибал...

Текли века потоком гулким,
И новая легла тропа,
Как по парижским переулкам

Впервые ринулась толпа, —
Чтоб, как взволнованная пена,
Сметая золото палат,
Зеленой веткой Демулена
Украстить стогны баррикад...
И вот, возвышенно и юно,
Посланницей высоких благ, —
Взнесла Парижская Коммуна
В деснице нищей красный флаг...

И знак особый выбирая
У всех народов и времен,
Остановились мы, не зная,
Какой из них нам присужден...
Мы не узнали... И над нами
В туманах вспыхнула тогда,
Сияя красными огнями,
Пятиконечная звезда!..

1920

«Здесь гулок шаг. В пакгаузах пустых...»

Здесь гулок шаг. В пакгаузах пустых
Нет пищи крысам. Только паутина
Подернула углы. И голубиной
Не видно стаи в улицах немых.
Крик грузчиков на площадях затих.
Нет кораблей... И только на старинной
Высокой башне бьют часы. Пустынно
И скучно здесь, среди домов сырых.
Взгляни, матрос! Твое настало время,
Чтоб в порт, покинутый и обойденный всеми,
Из дальних стран пришли опять суда.
И красный флаг над грузною таможней
Нам возвестил о правде непреложной,
О вольном крае силы и труда.

1921

Трясина

1. Ночь

Ежами в глаза налезала хвоя,
Прели стволы, от натуги воя.

Дятлы стучали, и совы стыли;
Мы челноки по реке пустили.

Трясина кругом да камыш кудлатый,
На черной воде кувшинок заплаты.

А под кувшинками в жидком сале
Черные сомы месяц сосали;

Месяц сосали, хвостом плескали,
На жирную воду зыбь напускали.

Комар начинал. И с комарьим стоном
Трясучая полночь шла по затонам.

Шла в зыбуны по сухому краю,
На каждый камыш звезду натывая...

И вот поползли, грызясь и калечась,
И гад, и червяк, и другая нечисть...

Шли, раздвигая камыш боками,
Волки с булыжными головами.

Видели мы – и поглядка прибыль! —
Узких лисиц, золотых, как рыбы...

Пар оседал малярным зноем,
След наливался болотным гноем.

Прямо в глаза им, сквозь синий студень
Месяц глядел, непонятный людям...

Тогда-то в болотном нутре гудело:
Он выходил на ночное дело...

С треском ломали его колена
Жесткий тростник, как сухое сено.

Жира и мышц жилистая сила
Вверх не давала поднять затылок.

В маленьких глазках – в болотной мути —
Месяц кружился, как капля ртути.

Он проходил, как меха вздыхая,
Сизую грязь на гачах вздымая.

Мерно покачиваем трясиной, —
Рылом в траву, шевеля щетиной,

На водопой, по нарывам кочек,
Он продвигался – обломок ночи,

Не замечая, как на востоке
Мокрой зари проступают соки;

Как над стеной камышовых щеток
Утро восходит из птичьих глоток;

Как в очерете, тайно и сладко,
Ноет болотная лихорадка...

.

Время пришло стволам вороненым
Правду свою показать затонам,

Время настало в клыкастый камень
Грять свинцовыми кругляками.

.

А между тем по его щетине
Солнце легло, как багровый иней, —

Солнце, распухшее, водяное,
Встало над каменною спиною.

Так и стоял он в огнях без счета,
Памятником, что воздвигли болота.

Памятник – только вздыхает глухо
Да поворачивается ухо...

Я говорю с ним понятной речью:
Самую крупную картечью.

Раз!
Только ухом повел – и разом
Грудью мотнулся и дрогнул глазом.

Два!
Закружились камыш с кугою,
Ахнул зыбун под его ногою...

В солнце, встающее над трясиной,
Он устремился горя щетиной.

Медью налитый, с кривой губою,
Он, убегая храпел трубою.

Вплавь по воде, вперебежку сушей,
В самое пекло вливаясь тушей, —

Он улетал, уплывал в туманы,
В княжество солнца, в дневные страны...

А с челнока два пустых патрона
Кинул я в черный тайник затона.

2. День

Жадное солнце вставало дыбом,
Жабры сушило в полях рыбам;

В жарком песке у речных излучий
Разогревало яйца гадючьи;

Сыпало уголь в берлогу волчью,
Птиц умывало горючей желчью;

И, расправляя перо и жало,
Мокрая нечисть солнце встречала.

.....

Тропка в трясине, в лесу просека
Ждали пришествия человека.

.....

Он надвигался, плечистый, рыжий,
Весь обдаваемый медной жижей.

Он надвигался – и под ногами
Брызгало и дробилось пламя.

И отливало пудовым зноем
Ружье за каменной спиной.

Через овраги и буераки
Прыгали огненные собаки.

В сумерки, где над травой зыбучей
Зверь надвигался косматой тучей,

Где в камышах, в земноводной прели,
Сердце стучало в огромном теле

И по ноздрям всё чаще и чаще
Воздух врвался струей свистящей.

Через болотную гниль и одурь
Передвигалась башки колода

Кряжистым лбом, что порос щетиной,
В солнце, встающее над трясиной.

Мутью налитый болотяною,
Черный, истыканный сединою, —

Вот он и вылез над зыбунами
Перед убийцей, одетым в пламя.

И на него, просверкав во мраке,
Ринулись огненные собаки.

Задом в кочкарник упершись твердо,
Зверь превратился в крутую морду,

Тело исчезло, и ребра сжались,
Только глаза да клыки остались,

Только собаки перед клыками
Вертятся огненными языками.

«Побереги!» – и, взлетая криво,
Псы низвергаются на загривок.

И закачалось и загудело
В огненных пьывках черное тело.

Каждая быстрая капля крови,
Каждая кость теперь наготове.

Пот оседает на травы ржою,
Едкие слюни текут вождою,

Дыбом клыки, и дыханье суше, —
Только бы дернуться ржавой туше...

Дернулась!
И, как листье сухое,
Псы облетают, скребясь и воя.

И перед зверем открылись кругом
Медные рощи и топь за лугом.

И, обдаваемый красной жижей,
Прямо под солнцем убийца рыжий.

И побежал, ветерком катимый,
Громкий сухой одуванчик дыма.

В брюхо клыком – не найдешь дороги,
Двинулся – но подвернулись ноги,

И заскулил, и упал, и вольно
Грянула псиная колокольня:

И над косматыми тростниками
Вырос убийца, одетый в пламя...

1927

Весна, ветеринар и я

Над вывеской лечебницы синий пар.
Щупает корову ветеринар.

Марганцем окрашенная рука
Обхаживает вымя и репицы плеть,
Нынче корове из-под быка
Мычать и, вытягиваясь, млеть.
Расчищен лопатами брачный круг,
Венчальную песню поет скворец,
Знаки Зодиака сошли на луг:
Рыбы в пруду и в траве Телец.

(Вселенная в мокрых ветках
Топорщится в небеса.
Шаманит в сырых беседках
Оранжевая оса,
И жаворонки в клетках
Пробуют голоса.)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Умывает руки ветеринар.

Топот за воротами.
Поглядим.

И вот, выпячивая бока,
Коровы плывут, как пятнистый дым,
Пропитанный сыростью молока,
И памятью о кормовых лугах
Роса, как бубенчики, на рогах,
Из-под мерных ног
Голубой угар.
О чем же ты думаешь, ветеринар?
На этих животных должно тебе
Теперь возложить ладони свои
Благословляя покой, и бег,
И смерть, и мучительный вой любви

(Апрельского мира челядь,
Ящерицы, жуки,
Они эту землю делят
На крохотные куски;
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!)

Над вывеской лечебницы синий пар...
Я здесь! Я около! Ветеринар!

Как совесть твоя, я встал над тобой,
Как смерть, обхожу твои страдные дни!
Надрывайся!
Работай!
Ругайся с женой!
Напивайся!

Но только не измени...
Видишь: падает в крынки парная звезда,
Мир лежит без межей,
Разутюжен и чист.
Обрастает зеленым,
Блестит, как вода,
Как промытый дождями
Кленовый лист.
Он здесь! Он трепещет невдалеке!
Ухвати и, как птицу, сожми в руке!

(Звезда стоит на пороге —
Не испугай ее!
Овраги, леса, дороги:
Неведомое житье!
Звезда стоит на пороге —
Смотри – не вспугни ее!)

Над вывеской лечебницы синий пар.
Мне издали кланяется ветеринар.

Скворец распинается на шесте.
Земля – как из бани. И ветра нет.
Над мелкими птицами
В пустоте
Постукиванье булыжных планет.
И гуси летят к водяной стране;
И в город уходят служителя,
С громадными звездами наедине

Семенем истекает земля.

(Вставай же, дитя работы,
Взволнованный и босой,
Чтоб взять этот мир, как соты,
Обрызганные росой.
Ах! Вешних солнц повороты,
Морей молодой прибой.)

1930

Стихи о себе

1. Дом

Хотя бы потому, что потрясен ветрами
Мой дом от половиц до потолка;
И старая сосна трет по оконной раме
Куском селедочного костяка;
И глохнет самовар, и запевают вещи,
И женщиной пропахла тишина,
И над кроватью кружится и плещет
Дымок ребяческого сна, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
В звероподобные кусты,
Где ветер осени, шурша снопом соломы,
Взрывает ржавые листья,
Где дождь пронзительный (как леденеют щеки!),
Где гнойники на сваленных стволах,
И ронжи скрежет и отзыв далекий
Гусиных стойбищ на лугах...
И всё болотное, ночное, колдовское,
Проклятое – всё лезет на меня:
Кустом морошки, вкусом зверобоя,
Дымком ночлежного огня,
Мглой зыбунов, где не услышишь шага.

...И вдруг – ладонью по лицу —
Реки расхристанная влага,
И в небе лебединый цуг.
Хотя бы потому, что туловища сосен
Стоят, как прадедов ряды,
Хотя бы потому, что мне в ночах несносен
Огонь олонецкой звезды, —
Мне хочется шагнуть через порог знакомый
(С дороги, беспризорная сосна!)
В распахнутую дверь,
В добротный запах дома,
В дымок младенческого сна...

2. Читатель в моем представлении

Во первых строках
Моего письма
Путь открывается
Длинный, как тесьма.
Вот, строки раскидывая,
Лезет на меня
Драконоподобная
Морда коня.
Вот скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он опережает
Овечий гурт,
Его подстерегает
Каракурт,
Его сопровождает
Шакалий плач,
И пулю посылает
Ему басмач.
Но скачет по равнине,
Довольный собой,
Молодой гидрограф —
Читатель мой.
Он тянет из кармана

Сухой урюк,
Он курит папиросы,
Что я курю;
Как я – он любопытен:
В траве степей
Выслеживает тропы
Зверей и змей.
Полдень придет —
Он слезет с коня,
Добрый словом
Вспомнит меня;
Сдвинет картуз
И зевнет слегка,
Книжку мою
Возьмет из мешка;
Прочтет стишок,
Оторвет листок,
Скинет пояс —
И под кусток.

Чего ж мне надо!
Мгновенье, стой!
Да здоровствует гидрограф
Читатель мой!

3. Так будет

Черт знает где,
На станции ночной,
Читатель мой,
Ты встретишься со мной.
Сутуловат,
Обветрен,
Запылен,
А мне казалось,
Что моложе он...
И скажет он,
Стряхая пыль травы:
«А мне казалось,
Что моложе вы!»
Так, вытерев ладони о штаны,
Встречаются работники страны.
У коновязи
Конь его храпит,
За сотни верст
Мой самовар кипит, —
И этот вечер,
Встреченный в пути,
Нам с глазу на глаз
Трудно провести.
Рассядемся,
Начнем табак курить.

Как невозможно
Нам заговорить.
Но вот по взгляду,
По движенью рук
Я в нем охотника
Признаю вдруг —
И я скажу:
«Уже на реках лед,
Как запоздал
Утиный перелет».
И скажет он,
Не подымая глаз:
«Нет времени
Охотиться сейчас!»
И замолчит.
И только смутный взор
Глухонемой продолжит разговор,
Пока за дверью
Не затрубит конь,
Пока из лампы
Не уйдет огонь,
Пока часы
Не скажут, как всегда:
«Довольно бреда,
Время для труда!»

О любителе соловьев

Я в него влюблена,
А он любит каких-то *соловьев*...
Он не знает, что не моя вина,
То, что я в него влюблена
Без щелканья, без свиста и даже без слов.
Ему трудно понять,
Как его может полюбить *человек*:
До сих пор его любили только *соловьи*.
Милый! Дай мне тебя обнять,
Увидеть стрелы опущенных век,
Рассказать о муках любви.
Я знаю, он меня спросит: «А где твой хвост?
Где твой клюв? Где у тебя прицеплены крылья?» —
«Мой милый! Я не *соловей*, не *славка*, не *дрозд*...
Полюби меня – ДЕВУШКУ,
ПТИЦЕПОДОБНЫЙ
и
хилый... Мой милый!»

1915

Рудокоп

Я в горы ушел изумрудною ночью,
В безмолвье снегов и опаловых льдин...
И в небе кружились жемчужные клочья,
И прыгать мешал на ремне карабин...

Меж сумрачных пихт и берез шелестящих
На лыжах скользил я по тусклому льду,
Где гномы свозили на тачках скрипящих
Из каменных шахт золотую руду...

Я видел на глине осыпанных щебней
Медвежьих следов перевитый узор,
Хрустальные башни изломанных гребней
И синие платья застывших озер...

И мерзлое небо спускалось всё ниже,
И месяц был льдиной над глыбами льдин,
Но резко шипели шершавые лыжи,
И мерно дрожал на ремне карабин...

В морозном ущелье три зимних недели
Я тяжкой киркою граниты взрывал,
Пока над обрывом, у сломанной ели,
В рассыпанном кварце зажегся металл...

И гасли полярных огней ожерелья,
Когда я ушел на далекий Восток...
И встал, колыхаясь, над мглою ущелья
Прозрачной весны изумрудный дымок...

Я в город пришел в ускользящем мраке,
Где падал на улицы тающий лед.
Я в лужи ступал. И рычали собаки
Из ветхих конур, у гниющих ворот...

И там, где фонарь над дощатым забором
Колышется в луже, как желтая тень,
Начерчены были шершавым узором
На вывеске буквы Бегущий Олень.

И там, где плетет серебристые сетки
Над визгом оркестра табачный дымок,
Я бросил у круга безумной рулетки
На зелень сукна золотистый песок...

А утром, от солнца пьяна и туманна,
Огромные бедра вздымала земля...
Но шею сжимала безмолвно и странно
Холодной змеею тугая петля.

Враг

Сжимает разбитую ногу
Гвоздями подбитый сапог,
Он молится грустному богу:
Молитвы услышит ли бог?

Промечут холодные зори
В поля золотые огни...
Шумят на багряном просторе
Зеленые вязы одни.

Лишь ветер, сорвавшийся с кручи,
Взвихрит серебристую пыль,
Да пляшет татарник колючий,
Да никнет безмолвно ковыль.

А ночью покроет дороги
Пропитанный слизью туман,
Протопчут усталые ноги,
Тревогу пробьет барабан.

Идет, под котомкой сгибаясь,
В дыму погибающих сел,
Беззвучно кричит, задыхаясь,
На знамени черный орел.

Протопчет, как дикая пляска,
Коней ошалелый галоп...
Опускается медная каска
На влажный запыленный лоб.

Поблекли засохшие губы,
Ружье задрожало в руке;
Запели дозорные трубы
В деревне на ближней реке...

Сейчас над сырыми полями
Свой веер раскроет восток...
Стучит тяжело сапогами
И взводит упругий курок...

Сентябрь 1914

Нарушение гармонии

Ультрамариновое небо,
От бурь вспотевшая земля,
И развернулись желчью хлеба
Шахматною доской поля.

Кто, вышедший из темной дали,
Впитавший мощь подземных сил,
В простор земли печатью стали
Прямоугольники вонзил.

Кто, в даль впиваясь мутным взором,
Нажатьем медленной руки
Геодезическим прибором
Рвет молча землю на куски.

О Землемер, во сне усталом
Ты видишь тот далекий скат,
Где треугольник острым жалом
Впился в очерченный квадрат.

И циркуль круг чертит размерно,
И линия проведена.
Но всё ж поет, клонясь неверно,
Отвеса медного струна:

О том, что площади покаты
Под землемерною трубой,
Что изумрудные квадраты
Кривой рассечены межой;

Что, пыльной мглою опьяненный,
Заняв квадратом ближний скат,
Углом в окружность заключенный,
Шуршит ветвями старый сад;

Что только памятник, бессилен,
Застыл над кровью поздних роз,
Что в медь надтреснутых извилин
Впился зеленый купорос.

1915

Гимн Маяковскому

Озверевший зубр в блестящем цилиндре я
Ты медленно поводишь остеклевшими глазами
На трубы, лоящие, как руки, облака,
На грязную мостовую, залитую нечистотами.
Вселенский спортсмен в оранжевом костюме,
Ты ударил землю кованым каблуком,
И она взлетела в огневые пространства
И несется быстрее, быстрее, быстрей...
Божественный сибарит с бронзовым телом,
Следящий, как в изумрудной чаше Земли,
Подвешенной над кострами веков,
Вздуваются и лопаются народы.
О Полководец Городов, бешено лающих на
Солнце,
Когда ты гордо проходишь по улице,
Дома вытягиваются во фронт,
Поворачивая крыши направо.
Я, изнеженный на пуховиках столетий,
Протягиваю тебе свою выхолченную руку,
И ты пожимаешь ее уверенной ладонью,
Так что на белой коже остаются синие следы.
Я, ненавидящий Современность,
Ищущий забвения в математике и истории,
Ясно вижу своими всё же вдохновенными глазами,

Что скоро, скоро мы сгинем, как дымы.
И, почтительно сторонясь, я говорю:
«Привет тебе, Маяковский!»

1915

Полководец

1

За пыльным золотом тяжелых колесниц,
Летающих к пурпуру слепительных подножий,
Курчавые рабы с натертой салом кожей
Проводят под уздцы нубийских кобылиц.

И там, где бронзовым закатом сожжены
Кроваво-красных гор обрывистые склоны,
Проходят медленно тяжелые слоны,
Влача в седой пыли расшитые попоны.

2

Свирепых воинов сзывают в бой рога;
И вот они ползут, прикрыв щитами спины,
По выжженному дну заброшенной стремнины
К раскинутым шатрам – становищу врага.

Но в тихом лагере им слышен хрип трубы,
Им видно, как орлы взнеслись над легионом,

Как пурпурный закат на бронзовые лбы
Льет медь и киноварь потоком раскаленным.

3

Ржавеет густо кровь на лезвиях мечей,
Стекает каплями со стрел, пронзивших спины,
И трупы бледные сжимают комья глины
Кривыми пальцами с огрызками ногтей.

Но молча он застыл на выжженной горе,
Как на воздвигнутом веками пьедестале,
И профиль сумрачный сияет на заре,
Как будто выбитый на огненной медали.

1916

Осень

Литавры лебедей замолкли вдалеке,
Затихли журавли за топкими лугами,
Лишь ястреба кружат над рыжими стогами,
Да осень шелестит в прибрежном тростнике.

На сломанных плетнях завился гибкий хмель,
И никнет яблоня, и утром пахнет слива,
В веселых кабачках разлито в бочки пиво,
И в тихой мгле полей, дрожа, звучит свирель.

Над прудом облака жемчужны и легки,
На западе огни прозрачны и лиловы.
Запрятавшись в кусты, мальчишки-птицеловы
В тени зеленых хвой расставили силки.

Из золотых полей, где синий дым встает,
Проходят девушки за грузными возами,
Их бедра зыблются под тонкими холстами,
На их щеках загар как золотистый мед.

В осенние луга, в безудержный простор
Спешат охотники под кружевом тумана.
И в зыбкой сырости пронзительно и странно
Звучит дрожащий лай нашедших зверя свор.

И Осень пьяная бредет из темных чаш,
Натянут темный лук холодными руками,
И в Лето целится и пляшет над лугами,
На смуглое плечо накинув желтый плащ.

И поздняя заря на алтарях лесов
Сжигает темный нард и брызжет алой кровью,
И к дерну летнему, к сырому изголовью
Летит холодный шум спадающих плодов.

1915

Дерибасовская ночью

(Весна)

На грязном небе выбиты лучами
Зеленые буквы: «Шоколад и какао»,
И автомобили, как коты с придавленными
хвостами,
Неистово визжат: «Ах, мяу! мяу!»

Черные деревья растрепанными метлами
Вымели с неба нарумяненные звезды,
И краснорыжие трамваи, погромыхая мордами,
По черепам булыжников ползут на роздых.

Гранитные дельфины – разжиревшие мопсы —
У грязного фонтана захотели пить,
И памятник Пушкина, всунувши в рот папиросу,
Просит у фонаря: «Позвольте закурить!»

Дегенеративные тучи проносятся низко,
От женских губ несет копеечными сигарами,
И месяц повис, как оранжевая сосиска,
Над мостовой, расчесавшей пробор тротуарами.

Семиэтажный дом с вывесками в охапке,

Курит уголь, как денди сигару,
И красноносый фонарь в гимназической шапке
Подмигивает вывеске – он сегодня в ударе.

На черных озерах маслянистого асфальта
Рыжие звезды служат ночи мессу...
Радуйтесь, сутенеры, трубы дома подымайте —
И у Дерибасовской есть поэтесса!

1915